

Николай Лесков

Грабеж



Николай Лесков

Грабеж

«Public Domain»

1887

Лесков Н. С.

Грабеж / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1887

«Шел разговор о воровстве в орловском банке, дела которого разбирались в 1887 году по осени. Говорили: и тот был хороший человек, и другой казался хорош, но, однако, все проворовались. А случившийся в компании старый орловский купец говорит:— Ах, господа, как надойдет воровской час, то и честные люди грабят...»

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	6
Глава третья	8
Глава четвертая	9
Глава пятая	10
Глава шестая	14
Глава седьмая	16
Глава восьмая	19
Глава девятая	22
Глава десятая	24
Глава одиннадцатая	27
Глава двенадцатая	29
Глава тринадцатая	31
Глава четырнадцатая	33
Глава пятнадцатая	34
Глава шестнадцатая	36
Глава семнадцатая	37

Николай Семёнович Лесков

Грабеж

Глава первая

Шел разговор о воровстве в орловском банке, дела которого разбирались в 1887 году по осени.

Говорили: и тот был хороший человек, и другой казался хорош, но, однако, все проворачивались.

А случившийся в компании старый орловский купец говорит:

– Ах, господа, как надойдет воровской час, то и честные люди грабят.

– Ну, это вы шутите.

– Нимало. А зачем же сказано: «Со избранными избран будешь, а со строптивыми развратишься»? Я знаю случай, когда честный человек на улице другого человека ограбил.

– Быть этого не может.

– Честное слово даю – ограбил, и если хотите, могу это рассказать.

– Сделайте ваше одолжение.

Купец и рассказал нам следующую историю, имевшую место лет за пятьдесят перед этим в том же самом городе Орле, незадолго перед знаменитыми орловскими истребительными пожарами. Дело происходило при покойном орловском губернаторе князе Петре Ивановиче Трубецком.

Вот как это было рассказано.

Глава вторая

Я орловский старожил. Весь наш род – все были не последние люди. Мы имели свой дом на Нижней улице, у Плаутина колодца, и свои ссыпные амбары, и свои барки; держали артель трепачей, торговали пенькой и вели хлебную ссыпку. Отчаянного большого состояния не имели, но рубля на полтину никогда не ломали и слыли за людей честных.

Отец мой скончался, когда мне пошел всего шестнадцатый год. Делом всем правила матушка Арина Леонтьевна при старом приказчике, а я тогда только присматривался. Во всем я, по воле родительской, был у матушки в полном повиновении. Баловства и озорства за мною никакого не было, и к храму Господню я имел усердие и страх. Еще же жила при нас маменькина сестра, а моя тетенька, почтенная вдова Катерина Леонтьевна. Это – уж совсем была святая богомолка. Мы были, по батюшке, церковной веры и к Покрову, к препочтенному отцу Ефиму приходом числились, а тетушка Катерина Леонтьевна прилежала древности: из своего особого стакана пила и ходила молиться в рыбные ряды, к староверам. Матушка и тетенька были из Ельца и там, в Ельце и в Ливнах, очень хорошее родство имели, но редко с своими виделись, потому что елецкие купцы любят перед орловскими гордиться и в компании часто бывают воители.

Домик у нас у Плаутина колодца был небольшой, но очень хорошо, по-купечески, обряжен, и житье мы вели самое строгое. Девятнадцать лет проживши на свете, я только и ходу знал, что в ссыпные амбары или к баркам на набережную, когда идет грузка, а в праздник к ранней обедне, в Покров, и от обедни опять сейчас же домой, и чтобы в доказательство рассказать маменьке, о чем Евангелие читали или не говорил ли отец Ефим какую проповедь; а отец Ефим был из духовных магистров, и, бывало, если проповедь постарается, то никак ее не постигнешь. Театр тогда у нас Турчанинов содержал, после Каменского, а потом Молотковский, но мне ни в театр, ни даже в трактир «Вену» чай пить матушка ни за что не позволяли. «Ничего, дескать, там, в „Вене“, хорошего не услышишь, а лучше дома сиди и ешь моченые яблоки». Только одно полное удовольствие мне раз или два в зиму позволялось – прогуляться и посмотреть, как квартальный Богданов с протодьяконом бойцовых гусей спускают или как мещане и семинаристы на кулачки бьются.

Бойцовых гусей у нас в то время много держали и спускали их на Кромской площади; но самый первый гусь был квартального Богданова: у другого бойца у живого крыло отрывал; и чтобы этого гуся кто-нибудь не накормил моченым горохом или иначе как не повредил – квартальный его, бывало, на себе в плетушке за спиною носил: так любил его. У протодьякона же гусь был глинистый, и когда дрался – страшно гоготал и шипел. Публики собиралось множество. А на кулачки биться мещане с семинаристами собирались или на лед, на Оке, под мужским монастырем, или к Навугорской заставе; тут сходились и шли, стена на стену, во всю улицу. Бивались часто на отчаянность. Правило такое только было, чтобы бить в подвздох, а не по лицу, и не класть в рукавицы медных больших гривен. Но, однако, это правило не соблюдалось. Часто случалось, что стащат домой человека на руках и отысповедовать не успеют, как уж и преставился. А многие оставались, но чахли. Мне же от маменьки позволение было только смотреть, но самому в стену чтобы не становиться. Однако я грешен был и в этом покойной родительнице являлся непослушен: сила моя и удаль нудили меня, и если, бывало, мещанская стена дрогнет, а семинарская стена на нее очень наваливает и гнать станет, то я, бывало, не вытерплю и становлюсь. Сила у меня с ранних пор такая состояла, что, бывало, чуть я в гонимую стену вскочу, крикну: «Господи благослови! бей, ребята, духовенных!» да как почну против себя семинаристов подавать, так все и посыпятся. Но славы себе я не искал и даже, бывало, всех об одном только прошу: «Братцы! пожалуйста, сделайте милость, чтобы по имени меня не называть», потому что боялся, чтобы маменька не узнали.

Так я прожил до девятнадцати лет и был здоров столь ужасно, что со мною стали обмороки и кровь носом шла. Тогда маменька стали подумывать меня женить, чтобы не начал на Секеренский завод ходить или не стал с перекрещенками баловаться.

Глава третья

Начали к нам по этому случаю приходиться в салопах свахи, и с Нижнихулиц, и с Кромской, и с Карачевской, и разных матушке для меня невест предлагали. От меня это все велось в секрете, так что все знали больше, чем я. Трепачи наши под сараем, и те, бывало, говорят:

– Тебя, Михаиле Михайлыч, маменька женить собирается. Как же ты сам на это, сколько согласен? Ты смотри – знай, что жена тебя после венца щекотать будет, но ты не робей – ты ее сам как можно щекочи в бока, а то она тебя защекочет.

Я, бывало, только краснею. Догадывался, разумеется, что что-то до меня касается, но сам никогда не слышал, про каких невест у маменьки с свахами идут разговоры. Как придет одна сваха или другая – маменька с нею запрутся в образной, сядут ко крестам, самовар спросят и все наедине говорят, а потом сваха выйдет, погладит меня по голове и обнадеживает:

– Не тужи, молодчик Мишенька: вот уж скоро не будешь один скучать, скоро мы тебя обрадуем.

А маменька даже, бывало, и за это сердятся и говорят:

– Ему это совсем не надо знать; что я над его головой решу, то с ним и быть должно. Это как в Писании.

Я и не тужил; мне было все равно: жениться так жениться, а придет дело до щекотки, тогда увидим еще, кто кого.

Тетушка же Катерина Леонтьевна шла против маменькиного желания и меня против их научала.

– Не женись, – говорила, – Миша, на орловской – ни за что не женись. Ты смотри: здешние, орловские, все как переверчены – не то они купчихи, не то благородные. За офицеров выходят. А ты проси мать, чтобы она взяла тебе жену из Ельца, откуда мы сами с ней родом Там в купечестве мужчины гуляки, но невесты есть настоящие девицы: не щепотницы, а скромные – на офицеров не смотрят, а в платочке молиться ходят и старым русским крестом крестятся. На такой как женишься, то и благодать в дом приведешь, и сам с женой по-старому молиться начнешь, а я тебе тогда все свое добро откажу, а ей отдам свое Божие благословение, и жемчуг окатный, и серебро, и пронизи, и парчовые шугаи, и телогреи, и все болховское вязание.

И было у тетеньки с маменькой на этот счет тихое между них неудовольствие, потому что маменька уже совсем были от старой веры отставши и по новым святцам Варваре-великомученице акафист читали. Они жену мне хотели взять из орловских для того, чтобы у нас было обновление родства.

– По крайней мере, – говорили, – чтобы на прощенные дни, перед постом, было нам к кому на прощанье с хлебами ездить и к нам чтобы было кому завитые хлебы привозить.

Маменька любили потом эти хлебы на сухари резать и в посту в чай с медом обмакивать, а у тетеньки надо всем выше стояло их древнее благочестие.

Спорили они, спорили, а все дело сделалось иначе.

Глава четвертая

Подвернулся вдруг самый неожиданный случай.

Сидим мы раз с тетушкой, на святках, после обеда у окошечка, толкуем что-то от Божества и едим в поспе моченые яблоки, и вдруг замечаем – у наших ворот на улице, на снегу, стоит тройка ямских коней. Смотрим – из-под кибитки из-за кошмы вылезает высокий человек в калмыцком тулупе, темным сукном крыт, алым кушаком подпоясан, зеленым гарусным шарфом во весь поднятый воротник оберчен, и длинные концы на груди жгутом свиты и за пазуху сунуты, на голове яломок, а на ногах телячьи сапоги мехом вверх.

Встал этот человек и вытряхивается, как пудель, от снега, а потом вместе с ямщиком зацепил из кибитки из-под кошмы другого человека, в бобровом картузе и в волчьей шубе, и держит его под руки, чтобы он мог на ногах устояться, потому что ему скользко на подшивных валенках.

Тетенька Катерина Леонтьевна очень обеспокоилась, что это за люди и зачем у наших ворот высаживаются, а как волчью шубу увидала, так и благословила:

– Господи Иисусе Христе, помилуй нас, аминь! – говорит. – Ведь это братец Иван Леонтьич, твой дядя, из Ельца приехал. Что это с ним случилось? С самых отцовых похорон три года здесь не был, а тут вдруг привалил на святках. Скорее бери ключ от ворот, бежи ему навстречу.

Я бросился искать маменьку, а маменька стали ключ искать и насилу его нашли в образнике, да пока я выбежал к воротам, да замок отпирать стали, да засов вытаскивать, тройка уже и отъехала, и тот, что в калмыцком тулупе был, уехал в кибитке, а дядя один стоит, за скобку держится и сердится.

– Что это, – говорит, – вы, как тетери, днем закупорились?

Маменька с ним здравствуются и отвечают:

– Разве вы, – говорит, – братец, не знаете, какое у нас орловское положение? Постоянно с ворами, и день, и ночь от полиции запираемся.

Дядя отвечает, что это у всех одно положение: Орел да Кромы – первые воры, а Карачев на придачу, а Елец всем ворами отец. «И мы, – говорит, тоже от своей полиции запираемся, но только на ночь, а на что же днем? Мне то и неприятно, что вы меня днем на улице у ворот оставили:

у меня валенки кожей обшиты – идти нельзя, скользко, – а я приехал по церковной надобности не с пустыми руками. Помилуй бог, какой орловчин с шеи рванет и убежит, а мне догонять нельзя».

Глава пятая

Мы все извинились перед дяденькой, отвели его в комнату из дорожного платья переодеваться. Переобулся Иван Леонтьич из валенок в сапоги, одел сюртук и сел к самовару, а матушка стала его спрашивать: по какому он такому церковному делу приехал, что даже на праздничных днях побеспокоился, и куда его попутчик от наших ворот делся?

А Иван Леонтьевич отвечает:

– Дело большое. Разве ты не понимаешь, что я нынче ктитор, а у нас на самый первый день праздника дьякон оборвался.

Маменька говорит

– Не слышали.

– Да ведь у вас когда же о чем-нибудь интересном слышат! Такой уж у вас город глухой.

– Но каким же это манером у вас дьякон оборвался?

– Ах, это он, мать моя, пострадал через свое усердие. Стал служить хорошо по случаю освобождения от галлов, и все громче, да громче, да еще громче, и вдруг как возгласил о «спасении» – так ему жила и лопнула. Подступили его с амвона сводить, а у него уже полон сапог крови натекло.

– Умер?

– Нет. Купцы не допустили: лекаря наняли. Наши купцы разве так бросят? Лекарь говорит: может еще на поправку пойти, но только голоса уже не будет. Вот мы и приехали сюда с нашим с первым прихожанином хлопотать, чтобы нашего дьякона от нас куда-нибудь в женский монастырь монашкам свели, а себе здесь должны выбрать у вас промежду всех одного самого лучшего.

– А это кто же ваш первый прихожанин и куда он отъехал?

– Наш первый прихожанин называется Павел Мироныч Мукомол. На московской богачихе женат. Целую неделю свадьбу праздновали. Очень ко храму привержен и службу всякую церковную лучше протодьякона знает. Затем его все и упросили: поезжай, посмотри и выбери; что тебе полюбится – то и нам будет любо. Его всяк стар и мал почитает. И он при огромном своем капитале, что три дома имеет, и свечной завод, и крупчатку, а сейчас послушался и для церковной надобности все оставил и полетел. Он пока в Репинской гостинице номер возьмет. Шалят у вас там или честно?

Маменька отвечают:

– Не знаю.

– То-то вот и есть, что вы живете и ничего не знаете.

– Мы гостиниц боимся.

– Ну да ничего; Павла Мироныча тоже нелегко обидеть: сильнее его ни в Ельце, ни в Ливнах кулачника нет. Что ни бой – то два да три кулачника от его руки падают. Он в прошлом году, постом, нарочно в Тулу ездил и даром что мукомол, а там двух самых первых самоварников так сразу с грыжей и сделал.

Маменька и тетенька перекрестились.

– Господи! – говорят, – зачем же ты такого к нам с собой на святые вечера привез!

А дяденька смеется:

– Чего, – говорит, – вы, бабы, испугались! Наш прихожанин – хороший человек, и по церковному делу мне без него обойтись невозможно. Мы с ним приехали на живую минуту, чтобы обобрать в свою пользу, что нам годится, и уехать.

Матушка с тетей опять ахнули.

– Что ты это, братец, зачем такое страшное шутишь!

Дядя еще веселее рассмеялся.

– Эх вы, – говорит, – вороны-сударыни, купчихи орловские! У вас и город-то не то город, не то пожарище – ни на что не похож, и сами-то вы в нем все, как копчущки в коробке, заглохли! Нет, далеко вам до нашего Ельца, даром что вы губернские. Наш Елец хоть уезд-городок, да Москвы уголок, а у вас что и есть хорошего, так вы и то ценить не можете. Вот мы это-то самое у вас и отберем.

– Что же это такое?

– Дьякон нам хороший в приход нужен, а у вас, говорят, есть два дьякона с голосами: один у Богоявления, в Рядах, а другой на Дьячковской части, у Никития. Выслушаем их во всех манерах, как Павел Мироныч покажет, что к нашему к елецкому вкусу подходящее, и которого изберем, того к себе сманим и уговор сделаем; а который нам не годится – тому во второй номер: за беспокойство получай на рясу деньгами. Павел Мироныч теперь уже поехал собирать их на пробу, а мне сейчас надо идти к Борисоглебскому соборцу; там, говорят, у вас есть гостинник, у которого всегда пустая гостиница. Вот в этой в пустой гостинице возьмем три номера насквозь и будем пробу делать. Должен ты, брат Мишутка, сейчас меня туда вести в провожатых.

Я спрашиваю:

– Это вы, дяденька, мне говорите?

Он отвечает:

– Известно, тебе. Кто же еще, кроме тебя, Мишутка? Ну, а если обижаешься, так, пожалуйста, назову тебя Михаиле Михайлович: окажи родственную услугу – проводи, сделай милость, на чужой стороне дядю родного.

Я откашлянулся и вежливо отвечаю:

– Это, дяденька, состоит не в том расчислении: я ничем не обижаюсь и готов со всей моей радостью, но я сам собой не владею, а как маменька прикажет.

Маменьке же это совершенно не понравилось.

– Зачем, – говорит, – вам, братец, в такую компанию с собой Мишу брать? Можно сделать, что вас другой кто-нибудь проводит.

– Мне с племянником-то приличней ходить.

– Ну, что он еще знает!

Да небось все знает. Мишутка, знаешь все?

Я застыдился.

– Нет, – говорю, – я всего знать не могу.

– Почему же так?

– Маменька не позволяют.

– Вот так дело! А как ты думаешь: родной дядя всегда может во всем племянником руководствовать или нет? Разумеется, может. Одевайся же сейчас и пойдем во все следы, пока дойдем до беды.

Я то тронусь, то стою, как пень: и его слушаю, и вижу, что маменька ни за что не хотят меня отпустить.

– У нас, – говорят, – Миша еще млад, и со двора он в вечернее время никуда выходить не обык. Зачем же тебе его непременно? Теперь не оглянись, как и сумерки, и воровской час будет.

Но тут дядя на них даже и покричал:

– Да полно вам, в самом деле, дурачиться! Что вы это парня в бабьем рукаве парите! Малый вырос такой, что вола убить может, а вы его все в детках бережете. Это одна ваша женская глупость, а он у вас от этого хуже будет. Ему надо развитие сил жизни иметь и утверждение характера, а мне он нужен потому, что, помилуй бог, на меня в самом деле в темноте или где-нибудь в закоулке ваши орловские воры нападут или полиция обходом встретится – так ведь со мной все наши деньги на хлопоты... Ведь сумма есть, чтобы и оборванного дьякона монашкам

сбыть, и себе сманить сильного... Неужели же вы, родные сестры, столь безродственны, что хотите, чтобы меня, брата вашего, по голове огрели или в полицию бы забрали, а там бы я после безо всего оказался?

Матушка говорит:

– Боже от этого сохрани – не в одном Ельце уважают родственность! Но ты возьми с собой приказчика или даже хоть двух молодцов из трепачей. У нас трепачи из кромчан страсть очень сильные, фунтов по восьми в день одного хлеба едят без приварка.

Дядя не захотел.

– На что, – говорит, – мне годятся наемные люди? Это вам, сестрам, даже стыдно и говорить, а мне с ними идти стыдно и страшно. Кромчане! Хороши тоже люди называются! Они пойдут провожать, да сами же первые и убьют, а Миша мне племянник, – мне с ним по крайней мере смело и прилично.

Стал на своем и не уступает:

– Вы, – говорит, – мне в этом никак отказать не можете, – иначе я родства отрекаюсь.

Этого маменька с тетенькой испугались и переглядываются друг на дружку: дескать, что нам делать – как быть?

Иван Леонтьич настаивает:

– И то, – говорит, – поймите: можете ли вы еще отказать для одного родства? Помните, что я его беру не для какой-нибудь своей забавы или для удовольствия, а по церковной надобности. Посоветуйтесь-ка, можно ли в этом отказать? Это отказать – все равно что для Бога отказать. А он ведь раб Божий, и Бог с ним волен: вы его при себе хотите оставить, а Бог возьмет да и не оставит.

Ужасно какой был на словах убедительный.

Маменька испугались.

– Полно тебе, пожалуйста, говорить такие страсти.

А дядя опять весело расхохотался.

– Ах, вороны-сударини! Вы и слов-то силы не понимаете! Кто же не раб божий? А я вот вижу, что вам самим ни на что не решиться, и я сам его у вас из-под крыла вышибу...

И с этим хватить меня за плечо и говорит:

– Поднимайся сейчас, Миша, и одевай гостиное платье, – я тебе дядя и старик, седых лет доживший. У меня внуки есть, и я тебя с собою беру на свое попечение и велю со мной следовать.

Я смотрю на мать и на тетеньку, а самому мне так на нутре весело, и эта дяденькина елецкая развязка очень мне нравится.

– Кого же, – говорю, – я должен слушать?

Дядя отвечает:

– самого старшего надо слушать – меня и слушай. Я тебя не на век, а всего на один час беру.

– Маменька! – вопию. – Что же вы мне прикажете?

Маменька отвечают:

– Что же... если всего на один час, так ничего – одевай гостиное платье и иди проводи дядю; но больше одного часу ни одной минуты не оставайся. Минуту промедлишь – умру со страху!

– Ну вот еще, – говорю, – приключение! Как это я могу в такой точности знать, что час уже прошел и что новая минута начинается, – а вы меж тем станете беспокоиться...

Дядя хохочет.

– На часы, – говорит, – на свои посмотришь и время узнаешь.

– У меня, – отвечаю, – своих часов нет.

– Ах, у тебя еще до сей поры даже и часов своих нет! Плохо же твое дело!

А маменька отзываются:

– На что ему часы?

– Чтобы время знать.

– Ну... он еще млад... их заводить не сумеет... На улице слышно, как на Богоявлении и на Девичьем монастыре часы бьют.

Я отвечаю:

– Вы разве не знаете, что на богоявленских часах вчера гиря сорвалась и они не бьют.

– Ну так девичьи.

– А девичьих никогда не слышно.

Дядя вмешался и говорит:

– Ничего, ничего; одевайся скорей и не бойся просрочить. Мы с тобою зайдем к часовщику, и я тебе в подарок часы куплю. Пусть у тебя за провожанье дядина память будет.

Я как про часы услышал – весь возгорелся: скорее у дяди руку чмок, надел на себя гостинное платье и готов.

Маменька благословила и еще несколько раз сказала:

– Только на один час!

Глава шестая

Дяденька был своего слова барин. Как только мы вышли, он говорит:

– Свисти скорее живейного извозчика – поедем к часовщику.

А у нас тогда, в Орле, путные люди на извозчиках по городу еще не ездили. Ездили только какие-нибудь гуляки, а больше извозчики стояли для наемщиков, которые в Орле за других во все места в солдаты нанимались.

Я говорю:

– Я, дяденька, свистать умею, но не могу, потому что у нас на живейниках наемщики ездят.

Он говорит: «Дурак!» – и сам засвистал. А как подъехали, опять говорит:

– Садись без разговора! Пешком в час оборотить к твоим бабам не поспеем, а я им слово дал, и мое слово – олово.

Но я от стыда себя не помню и с извозчика свешиваюсь.

– Что ты, – говорит, – ерзаешь?

– Помилуйте, – говорю, – подумают, что я наемщик.

– С дядей-то?

– Вас здесь не знают; скажут: вот он его уже катает, по всем местам обвезет, а потом закороводит. Маменьку стыдить будут.

Дядя ругаться начал.

Как я ни упирался, а должен был с ним рядом сидеть, чтобы скандала не заводить. Еду, а сам не знаю, куда мне глаза деть, – не смотрю, а вижу и слышу, будто все кругом говорят: «Вот оно как! Арины Леонтьевны Миша-то уж на живейном едет – верно в хорошее место!» Не могу вытерпеть!

– Как, – говорю, – вам, дяденька, угодно, а только я долой соскочу.

А он меня прихватил и смеется.

– Неужели, – говорит, – у вас в Орле уже все подряд дураки, что будут думать, будто старый дядя станет тебя куда-нибудь по дурным местам возить? Где у вас тут самый лучший часовщик?

– Самый лучший часовщик у нас немец Керн почитается; у него на окнах арап с часами на голове во все стороны глазами мигает. Но только к нему через Орлицкий мост надо в Волховскую ехать, а там в магазинах знакомые купцы из окон смотрят; я мимо их ни за что на живейном не поеду.

Дядя все равно не слушает.

– Пошел, – говорит, – извозчик, на Волховскую, к Керну.

Приехали. Я его упробил, чтобы он хоть здесь отпустил извозчика, что я назад ни за что в другой раз по тем же улицам не поеду. На это он согласился. Меня назвал еще раз дураком, а извозчику дал пятиалтынный и часы мне купил серебряные с золотым ободочком и с цепочкой.

– Такие, – говорит, – часы у нас, в Ельце, теперь самые модные; а когда ты их заводить приучишься, а я в другой раз приеду – я тебе тогда золотые куплю и с золотой цепочкой.

Я его поблагодарил и часам очень рад, но только прошу, чтобы все-таки он больше на извозчиках со мною не ездил.

– Хорошо, хорошо, – говорит, – веди меня скорей в Борисоглебскую гостиницу; нам надо там сквозной номер нанять.

Я говорю:

– Это отсюда рукой подать.

– Ну и пойдем. Нам здесь у вас в Орле прохладиться некогда. Мы зачем приехали? Себе голосистого дьякона выбрать; сейчас это и делать. Время терять некогда. Проведи меня до гостиницы и сам ступай домой к матери.

Я его проводил, а сам поскорее домой.

Прибежал так скоро, что всего часа еще не прошло, как вышел, и своим дядин подарок, часы, показываю.

Маменька посмотрела и говорит:

– Что ж... очень хороши, – повесь их у себя над кроватью на стенку, а то ты их потеряешь.

А тетенька отнеслась еще с критикой:

– Зачем же это, – говорит, – часы серебряные, а ободок желтый?

– Это, – отвечаю, – самое модное в Ельце.

– Пустяки какие, – говорит, – у них в Ельце выдумывают. Старики умнее в Ельце жили – все носили одного звания: серебряные часы так серебряные, а золотые так золотые; а это на что одно с другим совокуплено насильно, что бог разное по земле рассеял.

Но маменька помирили, что даровому коню в зубы не смотрят, и опять сказали:

– Поди в свою комнату и повесь над кроватью. Я тебе в воскресенье под них монашкам закажу вышить подушечку с бисером и с рыбьими чешуйками, а то ты как-нибудь в кармане стекло раздавишь.

Я весело говорю:

– Починить можно.

– Как чинить понадобится, тогда часовщик сейчас магнитную стрелку на камень в середине переменит, и часы пропали. Лучше поди скорее повесь.

Я, чтобы не спорить, вбил над кроватью гвоздик и повесил часы, а сам прилег на подушку и гляжу на них, любуюся. Очень мне приятно, что у меня такая благородная вещь. И как они хорошо, тихо тикают: тик, тик, тик, тик... Я слушал, слушал, да и заснул. Пробуждаюсь от громкого разговора.

Глава седьмая

Раздается за стеною и дядин голос и еще чей-то другой, незнакомый голос; а тоже слышно, что и маменька с тетенькой тут находятся.

Незнакомый рассказывает, что он был уже у Богоявления и там дьякона слушал, и у Никитья тоже был, но «надо, говорит, их вровнях ровно поставить и под свой камертон слушать».

Дядя отвечает:

– Что же, действуй; я в Борисоглебской гостинице все приготовил. Сквозь все комнаты открыты будут. Приезжих никого нет-кричите сколько хотите, обижаться будет некому. Отличная гостиница: туда только одни приказные из палат ходят с челобитчиками, пока присутствие; а вечером совершенно никого нет, и даже перед окнами, как лес, стоят оглобли да лубки на Полешской площади.

Незнакомый отвечает:

– Это нам и нужно, а то у них тоже нахальные любители есть и непременно соберутся мой голос слушать и пересмеивать.

– А ты разве боишься?

– Я не боюсь, а за нахальство рассержусь и побью. А у самого у него голос как труба.

– Я им, – говорит, – на свободе все примеры объясню, как в нашем городе любят. Послушаем, как они подведут и покажут себя на все лады: как ворчком при облачении, как середину, как многолетний верх, как «во блаженном успении» вопль пустить и памятную завойку сделать. Вот и вся недолга.

И дядя согласился.

– Да, – говорит, – надо их сравнять и тогда для всех безобидное решение сделать. Который к нашему елецкому фасону больше потрафит – о том станем хлопотать и к себе его сма-ним, а который слабже выйдет – тому дадим на рысу за беспокойство.

– Бери деньги с собою, а то у них крадут.

– Да и ты тоже свои с собой бери.

– Хорошо.

– Ну, а теперь ты иди уставляй угощение, а я за дьяконами поеду. Они просили, чтоб в сумерки, – потому что наш народ, говорят, шельма: все пронюхает.

Дядя и на это отвечает согласно, но только говорит:

– Я вот этих сумерек-то у них в Орле боюсь, а теперь скоро совсем стемнеет.

– Ну, я, – отвечает незнакомый, – ничего не боюсь.

– А как ихний орловский подлет с тебя шубу стащит?

– Ну, как же. Так-то он с меня и стащит! Лучше пусть не попадается, а то я, пожалуй, и сам с него все стащу.

– Хорошо, что ты так силен.

– А ты с племянником ступай. Парнище такой, что кулаком вола ушибить может.

Маменька отзывается:

– Миша слаб – где ему защищаться!

– Ну, пусть медных пятак в перчатку возьмет, тогда и крепок сделается.

Тетенька отзывается:

– Ишь что выдумает!

– Ну, а чем я худо сказал?

– На все у вас в Ельце, видно, свое правило.

– А то как же? У вас губернатор правила уставляет, а у нас губернатора нет, – вот мы зато и сами себе даем правило.

– Как бить человека?

– Да, и как бить человека есть правила.

– А вы лучше до воровского часу не оставайтесь, так ничего с вами и не приключится.

– А у вас в Орле в котором часу настанет воровской час?

Тетушка отвечает из какой-то книги:

– «Егда люди потрапезуют и, помоляся, уснут, в той час восстают татие и исходя грабят».

Дядя с незнакомым рассмеялись. Им это все, что маменька с тетенькой говорили, казалось будто невероятно или нерассудительно.

– Чего же, – говорят, – у вас в таком случае полицмейстер смотрит?

Тетенька опять отвечают от Писания:

– «Аще не Господь хранит дом – всуе бдит строгий». Полицмейстер у нас есть с названием Цыганок. Он свое дело и смотрит, хочет именье купить. А если кого ограбят, он говорит: «Зачем дома не спал? И не ограбили б».

– Он бы лучше чаще обходы посылал.

– Уж посылал.

– Ну и что же?

– Еще хуже стали грабить.

– Отчего же так?

– Неизвестно. Обход пройдет, а подлеты за ним вслед – и грабят.

– А может быть, не подлеты, а сами обходные и грабили.

– Может быть, и они грабили.

– Надо с квартальным.

– А с квартальным еще того хуже – на него если пожалуешься, так ему же и за бесчестье заплатишь.

– Экий город несуразный! – вскричал Павел Мироныч (я догадался, что это был он) и простился и вышел, а дядя пошевеливается и еще рассуждает:

Нет, и вправду, – говорит, – у нас в Ельце лучше. Я на живейном

Не ездил на живейнике! Живейный тебя оберет, да и с санок долой

Ну так как хотите, а я опять племянника Мишу с собой возьму. Нас с ним вдвоем никто не обидит.

Маменька сначала и слышать не хотели, чтобы меня отпустить, но дядя стал обижаться и говорит:

– Что же это такое: я же ему часы с ободком подарил, а он неужели будет ко мне неблагодарный и пустой родственной услуги не окажет? Не могу же я теперь все дело расстроить. Павел Мироныч вышел при моем полном обещании, что я с ними буду и все приготовлю, а теперь вместо того что же, я должен, наслушавшись ваших страхов, дома, что ли, остаться или один на верную погибель идти?

Тетенька с маменькой притихли и молчат.

А дядя настаивает:

– Ежели б, – говорит, – моя прежняя молодость, когда мне было хоть сорок лет, – так я бы не побоялся подлетов, а я муж в летах, мне шестьдесят пятый год, и если с меня далеко от дому шубу долой стащат, то я, пока без шубы приду, непременно воспаление плеч получу, и тогда мне надо молодую рожечницу кровь оттянуть, или я тут у вас и околею. Хороните меня тогда здесь на свой счет у Ивана Крестителя, и пусть над моим гробом вспомнят, что твой Мишка своего дядю родного в своем отечественном городе без родственной услуги оставил и один раз в жизни проводить не пошел...

Тут мне стало так его жалко и так совестно, что я сразу же выскочил и говорю:

– Нет, маменька, как вам угодно, но я дяденьку без родственной услуги не оставлю. Неужели я буду неблагодарный, как Альфред, которого ряженные солдаты по домам представ-

ляют? Я вам в ножки кланяюсь и прошу позволения, не заставьте меня быть неблагодарным, разрешите мне дядюшку проводить, потому что они мне родной и часы мне подарили и мне будет от всех людей совестно их без своей услуги оставить.

Маменька, как ни смущались, должны были меня отпустить, но только уж зато строго-престрого наказывали, чтобы и не пил, и по сторонам не смотрел, и никуда не заходил, и поздно не запаздывался.

Я ее всячески успокаиваю.

– Что вы, – говорю, – маменька: зачем по сторонам, когда есть прямая дорога. Я при дяде.

– Все-таки, – говорят, – хоть и при дяде, а до воровского часу не оставайся. Я спать не буду, пока вы домой обратите. А потом стала меня за дверью крестить и шепчет:

– Ты на своего дяденьку Ивана Леонтьевича не очень смотри: они в Ельце все колобродники. К ним даже и в дома-то их ходить страшно: чиновников зазовут угощать, а потом в рот силой льют, или выливают за ворот, и шубы спрячут, и ворота запрут, и запоют: «Кто не хочет пить – того будем бить». Я своего братца на этот счет знаю.

– Хорошо-с, – отвечаю, – маменька; хорошо, хорошо! Во всем за меня будьте покойны.

А маменька все свое:

– Сердце мое, – говорят, – чувствует, что это у вас добром не кончится.

Глава восьмая

Наконец вышли мы с дяденькой наружу за ворота и пошли. Что такое с нами подлеты двумя могут сделать? Маменька с тетенькой, известно, домоседки и не знают того, что я один по десяти человек на один кулак колотил в бою. Да и дяденька еще, хоть и пожилой человек, а тоже за себя постоять могут.

Побежали мы туда, сюда, в рыбные лавки и в ренсковые погреба, всего накупили и все посылаем в Борисоглебскую, в номера, с большими кулками. Сейчас самовары греть заказали, закуски раскрыли, вино и ром расставили и хозяина, борисоглебского гостинника, в компанию пригласили и просим:

– Мы ничего нехорошего делать не будем, но только желание наше и просьба – чтобы никто чужой не слышал и не видал.

– Это, – говорит, – сделайте милость; клоп один разве в стене услышит, а больше некому. А сам такой соня – все со сна рот крестит.

Вскоре же и Павел Мироныч приехал и обоих дьяконов с собой привез: и богоявленского, и от Никития. Закусили сначала кое-как, начерно, балычка да икорки и сейчас поблагословились за дело, чтобы пробовать.

Три верхние номера все сквозь в одно были отворены. В одном на кроватях одежду склали, в другом, крайнем, закуску устали, а в среднем – голоса пробовать.

Прежде Павел Мироныч посредине комнаты стал и показал, что главное у них в Ельце купечество от дьяконов любит. Голос у него, я вам говорил, престашный, даже как будто по лицу бьет и в окнах на стеклах трещит.

Даже гостинник очнулся и говорит:

– Вам бы самому и первым дьяконом быть.

– Мало ли что! – отвечает Павел Мироныч, – мне, при моем капитале, и так жить можно, а я только люблю в священном служении громкость слушать.

– Этого кто же не любит!

И сейчас после того, как Павел Мироныч прокричал, начали себя показывать дьякона: сначала один, а потом другой одно и то же самое возглашать. Богоявленский дьякон был черный и мягкий, весь как на вате стега а никитский рыжий, сухой, что есть хреновый корень, и борода маленька смывком; а как пошли кричать, выбрать невозможно, который лучше. В одном роде у одного лучше выходит, а в другом у другого приятнее. Сначала Павел Мироныч представил, как у них в Ельце любят, чтобы издали, ворчанье раздавалось. Проворчал «Достойно есть», и потом «Прободи, владыко» и «Пожри, владыко», а потом это же самое сделали оба дьякона. У рыжего ворчок вышел лучше. В чтении Павел Мироныч с такого с низа взял, что ниже самого низкого, как будто издали ветром наносит: «Во время онно». А потом начал выходить все выше да выше и наконец сделал, такое воскликновение, что стекла зазвенели. И дьякона ровнях с ним не отставали.

Ну, потом таким же манером и все прочее, как икатенью вести и как надо певчим в тон подводить, потом радостное многолетие и «о спасении»; потом заунывное – «вечный покой». Сухой никитский дьякон завойкою так всем понравился, что и дядя, и Павел Мироныч начали плакать и его целовать и еще спрашивать, нельзя ли развести от всего своего естества еще поужаснее.

Дьякон отвечает:

– Отчего же нет: мне это религия допускает, но надо бы чистым ямайским ромом подкрепиться – от него раскат в грудях шире идет.

– Сделай твое одолжение – ром на то изготовлен: хочешь из рюмки пей, хочешь из стакана лещи, а еще лучше обороти бутылку, да и перелей все сразу из горлышка.

Дьякон говорит:

– Нет, я больше стакана за раз не обожаю.

Подкрепились – дьякон и начал снизу «во блаженном успении вечный покой» и пошел все поднимать вверх и все с густым подвоем всем «усопшим владыкам орловским и севским, Аполлосу же и Досифею, Ионе же и Гавриилу, Никодиму же и Иннокентию», и как дошел до «с-о-т-т-в-о-о-р-р-и им» так даже весь кадык клубком в горле выпятил и такую завойку взвыл, что ужас стал нападать, и дяденька начал креститься и под кровать ноги подсовывать, и я за ним то же самое. А из-под кровати вдруг что-то бац нас по булдажкам, – мы оба вскрикнули и враз на середину комнаты выскочили и трясемся...

Дяденька в испуге говорит:

– Ну вас совсем! Оставьте их... не зовите их больше... они уж и так здесь под кроватью толкаются.

Павел Мироныч спрашивает:

– Кто под кроватью может толкаться?

Дядя отвечает:

– Покойнички.

Павел Мироныч, однако, не оробел: схватил свечку с огнем да под кровать, а на свечку что-то дунуло, и подсвечник из рук вышибло, и лезет оттуда в виде как будто наш купец от Николы, из Мясных рядов.

Все мы, кроме гостинника, в разные стороны кинулись и твердим одно слово:

– Чур нас! чур!

А за этим из-под другой кровати еще другой купец выползает. И мне кажется, что и этот будто тоже из Мясных рядов.

– Что же это значит?

А эти купцы оба говорят:

– Пожалуйста, это ничего не значит... Мы просто любим басы слушать.

А первый купец, который нас с дядей по ногам ударил и у Павла Мироныча свечу вышиб, извиняется, что мы его сами сапогами зашибли, а Павел Мироныч свечкою чуть лицо не подпалил.

Но Павел Мироныч рассердился на гостинника и стал его обвинять, что если за номера деньги заплочены, так не надо было сторонних людей без спроса под кровать накладывать.

А гостинник будто все спал, но оказался сильно выпивши.

– Эти хозяева, – говорит, – оба мне родственники: я им хотел родственную услугу сделать. Я в своем доме что хочу – все могу.

– Нет, не можешь.

– Нет, могу.

– А если тебе заплочено?

– Так что же, что заплочено? Это дом мой, а мне мои родные всякой платы дороже. Ты побыл здесь и уедешь, а они здесь всегдашние: вы их ни пятками ткать, ни глаза им жечь огнем не смеете.

– Не нарочно мы их пятками ткали, а только ноги свои подвели, говорит дядя.

– А вы ног бы не подводили, а прямо сидели.

– Мы подвели с ужаса.

– Ну так что за беда. А они к лерегии привержены и желамши слушать...

Павел Мироныч вскипел.

– Да это нешто, – говорит, – лерегия? Это один пример для образования, а лерегия в церкви.

– Все равно, – говорит гостинник, – это все к одному и тому же касается.

– Ах вы, поджигатели!

– А вы бунтовщики.

– Какие?

– Дохлым мясом у себя торговали. Заседателя на ключ заперли!

И пошли в этом роде бесконечные глупости. И вдруг все возмутилось, и уже гостинник кричит:

– Ступайте вы, мукомолы, вон из моего заведения, я с своими мясниками сам продолжать буду.

Павел Мироныч ему и погрозил.

А гостинник отвечает:

– А если грозиться, так я сейчас таких орловских молодцов кликну, что вы ни одного не переломленного ребра домой в Елец не привезете.

Павел Мироныч, как первый елецкий силач, обиделся.

– Ну что делать, – говорит, – зови, если с места встанешь, а я вон из номера не пойду; у нас за вино деньги плочены.

Мясники захотели уйти – верно, вздумали людей кликнуть. Павел Мироныч их в кучу и кричит:

– Где ключ? Я их всех запру.

Я говорю дяде:

– Дяденька! бога ради! Вот мы до чего досиделись! Тут может убийство выйти! А дома теперь маменька и тетенька ждут... Что они думают!.. Как беспокоятся!

Дядя и сам устранился.

– Хватай шубу, – говорит, – пока отперто, и уйдем.

Выскочили мы в другую комнату, захватили шубы, и рады, что на вольный воздух выка- тились; но только тьма вокруг такая густая, что и зги не видно, и снег мокрый-премокрый целыми хлопками так в лицо и лепит, так глаза и застилает.

– Веди, – говорит дядя, – я что-то вдруг все забыл – где мы, и ничего рассмотреть не могу.

– Вы, – говорю, – уж только скорей ноги уносите.

– Павла Мироныча нехорошо что оставили.

– Да ведь что же с ним делать?

– Так-то оно так... но первый прихожанин.

– Он силач; его не обидят.

А снег так и слепит, и как мы из духоты выскочили, то невесть что кажется, будто кто- то со всех сторон вылезает.

Глава девятая

Я, разумеется, дорогу отлично знал, потому что город наш небольшой, и я в нем родился и вырос, но эта темнота и мокрый снег прямо из комнатного жара да из света точно у меня память отуманили.

– Позвольте, – говорю, – дяденька, сообразить, где мы находимся.

– Неужели же ты в своем городе примет не знаешь?

– Нет, знаю, мол; первая примета у нас два собора: один новый, большой, другой старый, маленький, и нам надо промежду их взять направо, а я теперь за этим снегом не вижу ни большого собора, ни малого.

– Вот тебе и раз! Этак и в самом деле с нас шубы снимут или даже совсем разденут, и нельзя знать будет, куда бежать голым. Насмерть простудиться можно.

– Авось, бог даст, не разденут.

– А ты знаешь этих купцов, которые из-под постелей вылезли?

– Знаю.

– Обоих знаешь?

– Обоих знаю, один называется Ефросин Иванов, а другой Агафон Петров.

– И что же – они всамделе купцы?

– Купцы.

– У одного рожа-то мне совсем не понравилась.

– Чем?

– Язовитское в нем ображение.

– Это Ефросин: он и меня раз испугал.

– Чем?

– Мечтанием. Я один раз шел вечером ото всенощной мимо их лавок и стал против Николы помолиться, чтобы пронес бог, – потому что у них в рядах злые собаки; а у этого купца Ефросина Иваныча в лавке соловей свищет, и сквозь заборные доски лампада перед иконой светится. Я прилег к щелке подглядеть и вижу: он стоит с ножом в руках над бычком, бычок у его ног зарезан и связанными ногами брыкается, головой вскидывает; голова мотается на перерезанном горле, и кровь так и хлещет; а другой телок в темном угле ножа ждет, не то мычит, не то дрожит, а над парной кровью соловей в клетке яростно свищет, и вдали за Окою гром погромыхивает. Страшно мне стало. Я испугался и крикнул: «Ефросин Иваныч!» Хотел его просить меня до лав проводить, но он как вздрогнет весь... Я и убежал. И сейчас это в памяти.

– Зачем же ты теперь такую страшность рассказываешь?

– А что же такое? разве вы боитесь?

– Не боюсь, да не надо про страшное.

– Ведь это хорошо кончилось. Я ему на другой день говорю: так – я тебя испугался. А он отвечает: «А ты меня испугал, потому что я стоял соловья заслушавшись, а ты вдруг крикнул». Я говорю: «Зачем же ты так чувствительно слушаешь?» – «Не могу, – отвечает, – у меня часто сердце заходится».

– Да ты силен или нет? – вдруг перебил дядя.

– Хвалиться, – говорю, – особенной силой не стану, а если пятака три-четыре старинных в кулак зажму, то могу какого хотите подлета треснуть прямо на помин души.

– Да хорошо, – говорит, – если он будет один.

– Ну кто, подлет-то! А если они двое или в целой компании?..

– Ничего, мол: если и двое, так справимся – вы поможете. А в большой компании подлеты не ходят.

– Ну, ты на меня не много надейся: я, брат, стар стал. Прежде, точно, я бивал во славу Божию так, что по Ельцу знали и в Ливнах...

Но не успел он это проговорить, как вдруг слышим, сзади нас будто кто-то идет и еще поспешает.

– Позвольте, – говорю, – мне кажется, как будто кто-то идет.

– А что? И я слышу, что идет, – отвечает дядя.

Глава десятая

Я молчу, дядя мне шепчет:

– Остановимся и вперед его мимо себя пропустим.

А было это уже как раз на спуске с горы, где летом к Балашевскому мосту ходят, а зимой через лед между барками.

Тут исстари место самое глухое. На горе мало было домов, и те заперты, а внизу вправо, на Орлике, дрянные бани да пустая мельница, а сверху сюда обрыв как стена, а с правой сад, где всегда воры прятались. А полицмейстер Цыганок здесь будку построил, и народ стал говорить, что будочник ворами помогает... Думаю, кто это ни подходит – подлет или нет, а в самом деле лучше его мимо себя пропустим.

Мы с дядей остановились... И что же вы думаете: тот человек, который сзади шел, тоже, должно быть, стал – шагов его сделалось не слышно.

– Не ошиблись ли мы, – говорит дядя, – может быть, никто не шел.

– Нет, – отвечаю, – я явственно слышал шаги, и очень близко.

Постояли еще – ничего не слышно; но только что дальше пошли – слышим, он опять за нами поспекает... Слышно даже, как спешит и тяжело дышит.

Мы убавили шаги и идем тише – и он тише; мы опять прибавим шаг – и он опять шибче подходит и вот-вот в самый наш след врзается.

Толковать больше нечего: мы явственно поняли, что это подлет нас следит, и следит как есть с самой гостиницы; значит, он нас поджидал, и когда я на обходе запутался в снегу между большим собором и малым – он нас и взял на примет. Теперь, значит, не миновать чему-нибудь случиться. Он один не будет.

А снег, как назло, еще сильней повалил; идешь, точно будто в горшке с простоквашей мешаешь: бело и мокро – все облипши.

А впереди теперь у нас Ока, надо на лед сходить; а на льду пустые барки, и чтобы к нам домой на ту сторону перейти, надо сквозь эти барки тесными проходцами пробираться. А у подлета, который за нами следит, верно тут-то где-нибудь и его воровские товарищи спрятаны. Им всего способнее на льду между барок грабить – и убить, и под воду спустить. Тут их притон, и днем всегда можно видеть их места. Логовища у них налажены с подстилкой из костры и из соломы, в которых они лежат, покуривают и до/кидают. И особые женки кабацкие с ними тут тоже привитали. Лихие бабенки. Бывало, выкажут себя, мужчину подманят и заведут, а уж те грабят, а эти опять на карауле караулят.

Больше всего нападали на тех, кто из мужского монастыря от всенощной возвращался, потому что наши певчих любили, и был тогда удивительный бас Струков, ужасного обличья: черный, три хохла на голове и нижняя губа как будто откидной передок в фаэтоне отваливалась. Пока он ревет – она все откинута, а потом захлопнется. Если же кто хотел цел от всенощной воротиться, то приглашали с собой провожатыми приказных Рябыкина или Корсунского. Оба силачи были, и их подлеты боялись. Особливо Рябыкина, который был с бельмом и по тому делу находился, когда приказного Соломку в Щекатихинской роще на майском гулянье убили...

Я рассказываю все это дяде для того, чтобы ему о себе не думалось, а он перебивает:

– Постой, ты меня совсем уморил. Все у вас убивают; отдохнем по крайней мере перед тем, как на лед сходить. Вот у меня еще есть при себе три медных пятака. Бери-ка их тоже к себе в перчатку.

– Пожалуй, давайте – у меня рукавичка с варежкой свободная, три пятака еще могу захватить.

И только что хочу у него взять эти пятаки, как вдруг кто-то прямо мимо нас из темноты вырос и говорит:

– Что, добрые молодцы, кого ограбили? Я думал: так и есть – подлет, но узнал по голосу, что это тот мясник, о котором я сказывал.

– Это ты, – говорю, – Ефросин Иваныч? Пойдем, брат, с нами вместе заодно.

А он второпях проходит, как будто с снегом смешался, и на ходу отвечает:

– Нет, братцы, гусь свинье не товарищ: вы себе свой дуван дуваньте, а Ефросина не трогайте. Ефросин теперь голосов наслышался, и в нем сердце в груди зашедшись... Щелкану – и жив не останешься...

– Нельзя, – говорю, – его остановить; видите, он на наш счет в ошибке: он нас за воров почитает.

Дядя отвечает:

– Да и Бог с ним, с его товариществом. От него тоже не знаешь, жив ли останешься. Пойдем лучше, что бог даст, с одною с божьей помощью. Бог не выдаст – свинья не съест. Да теперь, когда он прошел, так стало и смело... Господи помилуй! Никола, мценский заступник, Митрофаней воронежский, Тихон и Иосаф... Брысь! Что это такое?

– Что?

– Ты не видал?

– Что же тут можно видеть?

– Вроде как будто кошка под ноги.

– Это вам показалось.

– Совсем как арбуз покатился.

– Может быть, с кого-нибудь шапку сорвало.

– Ой!

– Что вы?

– Я про шапку.

– А что такое?

– Да ведь ты же сам говоришь: «сорвали»... Верно, там, на горе, кого-нибудь тормошат.

– Нет, верно, просто ветер сорвал.

И мы с этими словами стали оба спускаться к баркам на лед. А барки, повторяю вам, тогда ставили просто, без всякого порядка, одна около другой, как остановятся. Нагромождено, бывало, так страшно тесно, что только между ними самые узкие коридорчики, где насилу можно пролезть и все туда да сюда загогулями заворачивать надо.

– Ну, тут, – говорю, – дяденька, я от вас скрывать не хочу, – здесь и есть самая опасность.

Дядя замер – уж и святым не молится.

– Идите, – говорю, – теперь вы, дяденька, вперед.

– Зачем же, – шепчет, – вперед?

– Впереди безопаснее.

– А отчего безопаснее?

– Оттого, что если подлет на вас налетит, то вы сейчас на меня взад подадитесь, а я вас тогда поддержу, а его съезжу. А сзади мне вас не видно: подлет вам, может, рукою или скользкою мочалкою рот захватит, – а я и не услышу... идти буду.

– Нет, ты не иди... А какие же у них есть мочалки?

– Скользкие такие. Женки их из-под бань собирают и им приносят рты затыкать, чтобы голосу не было.

Вижу, дядя все это разговаривает, потому что впереди идти боится.

– Я, – говорит, – впереди идти опасуюсь, потому что он может меня по лбу гирей стукнуть, а ты тогда и заступиться не успеешь.

– Ну, а позади вам еще страшнее, потому что он может вас в затылок свайкой свиснуть.

- Какой свайкой?
- Что же это вы спрашиваете: разве вам неизвестно, что такое свайка?
- Нет, я знаю: свайка для игры делается – железная, острая...
- Да, острая.
- С круглой головкой?
- Да, фунта в три, в четыре, головка шариком.
- У нас в Ельце на это носят кистени; но чтобы свайкой – я это в первый раз слышу.
- А у нас в Орле первая самая любимая мода – по голове свайкой. Так череп и треснет.
- Однако пойдем лучше рядом под ручки.
- Тесно вдвоем между барками.
- А как это... свайкой-то, в самом деле!.. Лучше как-нибудь тискаться будем.

Глава одиннадцатая

Но только мы взялись под локотки и по этим коридорчикам между барок тискаться начали, – слышим, и тот, задний, опять от нас не отстал, опять он сзади за нами лезет.

– Скажи, пожалуйста, – говорит дядя, – ведь это, значит, не мясник был?

Я только плечами двинул и прислушиваюсь...

Шуршит, слышно, как боками лезет и вот-вот сейчас меня рукою сзади схватит... А с горы, слышно, еще другой бежит... Ну, видимо дело, подлеты, – надо уходить. Рванулись мы вперед, да нельзя скоро идти, потому что и темно, и тесно, и ледышки торчком стоят, а этот ближний подлет совсем уж за моими плечами... дышит.

Я говорю дяде:

– Все равно нельзя миновать – оборотимся.

Думал так, что либо пусть он мимо нас пройдет, либо уж лучше его самому кулаком с пятаками в лицо встретить, чем он сзади стукнет. Но только что мы к нему передом оборотились, – он как пригнется, бездельник, да как кот между нас шарк!..

Мы оба с дядей так с ног долой и срезались.

Дядя кричит мне:

– Лови, лови, Мишутка! Он с меня бобровый картуз сорвал. А я ничего не вижу, но про часы вспомнил, и хватя себя за часы. А вообразите, моих часов уже нет... Сорвал, bestия!

– С меня с самого, – отвечаю, – часы сняты!

И я, себя позабывши, кинулся за этим подлетом изо всей мочи и на свое счастье впотьмах тут же его за баркою изловил, ударил его изо всей силы по голове пятаками, сбил с ног и сел на него:

– Отдавай часы!

Он хоть бы слово в ответ; но зубами меня, подлец, за руку тяпнул.

– Ах ты, собака! – говорю. – Ишь как кусается! – И треснул его хорошенько во-усысе да обшлагом рукава ему рот заткнул, а другою рукою прямо к нему за пазуху и сразу часы нашел и вытащил.

Тут же сейчас и дядя подскочил:

– Держи его, держи, – говорит, – я его разутюжу.

И начали мы его утюжить и по-елецки и по-орловски. Жестоко его отколошматили, до того, что он только вырвался от нас, так и не вскрикнул, а словно заяц ударился; и только уж когда за Плаутин колодец забежал, так оттуда закричал «караул»; и сейчас же опять кто-то другой по ту сторону, на горе, закричал «караул».

– Каковы разбойники! – говорит дядя. – Сами людей грабят, и сами еще на обе стороны «караул» кричат!.. Ты часы у него отнял?

– Отнял.

– А что же ты мой картуз не отнял?

– У меня, – отвечаю, – про ваш картуз совсем из головы вышло.

– А вот мне теперь холодно. У меня плешь.

– Наденьте мою шапку.

– Не хочу я твоей. Мой картуз у Фалеева пятьдесят рублей дан.

– Все равно, – говорю, – теперь не видно.

– А ты же как?

– Я так, в простых волосах дойду. Да уж и близко – сейчас за угол завернуть, и наш дом будет.

Моя шапка, однако, вышла дяде мала. Он вынул из кармана носовой платок и платком повязался.

Так домой и прибежали.

Глава двенадцатая

Маменька с тетенькой еще не ложились спать: обе чулки вязали – нас дожидались. И как увидели, что дядя вошел весь в снегу вывален и по-бабьему носовым платком на голове повязан, так обе разом ахнули и заговорили:

– Господи! что это такое!.. Где же зимний картуз, который на вас был?

– Прощай, брат, мой зимний картуз!.. Нет его, – отвечает дядя.

– Владычица наша Пресвятая Богородица! Где же он делся?

– Ваши орловские подлеты на льду сняли.

– То-то мы слышали, как вы «караул» кричали. Я и говорила сестрице: «Вышли трепачей – я будто невинный Мишин голос слышу».

– Да! Пока бы твои трепачи проснулись да вышли – от нас бы и звания не осталось... Нет, это не мы «караул» кричали, а воры; а мы сами себя оборонили.

Маменька с тетенькой вскипели.

– Как? Неужели и Миша силой усиливался?

– Да Миша-то и все главное дело сделал – он только вот мою шапку упустил, а зато часы отнял.

Маменька, вижу, и рады, что я так поправился, но говорят:

– Ах, Миша, Миша! А я же ведь тебя как просила: не пей ничего и не сиди до позднего, воровского часу. Зачем ты меня не слушал?

– Простите, – говорю, – маменька, – я пить ничего не пил, а никак не смел одного дяденьку там оставить. Сами видите, если бы они одни возвращались, то с ними какая могла быть большая неприятность.

– Да все равно и теперь картуз сняли.

– Ну, теперь еще что!.. Картуз – дело наживное.

– Разумеется – слава богу, что ты часы снял.

– Да-с, маменька, снял. И ах, как снял! – сшиб его в одну минуту с ног, рот рукавом заткнул, чтобы он не кричал, а другою рукою за пазухой обвел и часы вынул, и тогда его вместе с дяденькой колотить начали.

– Ну, уж это напрасно.

– А нет-с! Пусть, шельма, помнит.

– Часы-то не испортились?

– Нет-с, не должно быть – только, кажется, цепочку оборвал.

И с этим словом вынимаю из кармана часы и рассматриваю цепочку, а тетенька всматривается и спрашивают:

– Да это чьи же такие часы?

– Как чьи? Разумеется, мои.

– А ведь твои были с ободочком.

– Ну так что же?

А сам смотрю – и вдруг вижу: в самом деле, на этих часах золотого ободочка нет, а вместо того на серебряной дощечке пастушка с пастушком, и у их ног – овечка...

Я весь затрясся.

– Что же это такое?! Это не мои часы!

И все стоят, не понимают.

Тетенька говорит:

– Вот так штука!

А дяденька успокаивает:

– Пойдите, – говорит, – не пугайтесь; верно он Мишуткины часы с собой захватил, а эти с кого-нибудь с другого еще раньше снял.

Но я швырнул эти вынутые часы на стол и, чтобы их не видеть, бросился в свою комнату. А там, слышу, на стенке над кроватью мои часы потюкивают: тик-так, тик-так, тик-так.

Я подскочил со свечой и вижу – они самые, мои часы с ободочком... Висят, как святые, на своем месте!

Тут я треснул себя со всей силы ладонью в лоб и уже не заплакал, а завыл...

– Господи! да кого же это я ограбил!

Глава тринадцатая

Маменька, тетенька, дядя – все испугались, прибежали, трясут меня.

– Что ты, что ты? Успокойся!

– Отстаньте, – говорю, – пожалуйста! Как мне можно успокоиться, когда я человека ограбил!

Маменька заплакали.

– Он, – говорят, – помешался, – он увидел, что ли, что-нибудь страшное!

– Разумеется, увидел, маменька!.. Что тут делать!!

– Что же такое ты увидел?

– А вот это самое, посмотрите сами.

– Да что? где?

– Да вот, вот это! Смотрите! Или вы не видите, что это такое?

Они поглядели на стенку, куда я им показал, и видят: на стенке висят и преспокойно тикают подаренные мне дядей серебряные часы с золотым ободочком...

Дядя первый образумился.

– Свят, свят, свят! – говорит, – ведь это твои часы?

– Ну да, конечно мои!

– Ты их, значит, верно и не надевал, а здесь оставил?

– Да уж видите, что здесь оставил.

– А те-то... те-то... Чьи же это, которые ты снял?

– А я почему знаю, чьи они!

– Что же это! Сестрицы мои, голубушки! Ведь это мы с Мишей кого-то ограбили!

Маменька так с ног долой и срезалась: как стояла, так вскрикнула и на том же месте на пол села.

Я к ней, чтобы поднять, а она гневно:

– Прочь, грабитель!

Тетенька же только крестит во все стороны и приговаривает:

– Свят, свят, свят!

А маменька схватились за голову и шепчут:

– Избили кого-то, ограбили и сами не знают кого!

Дядя ее поднял и успокаивает:

– Да уж успокойся, не путного же кого-нибудь избили.

– Почему вы знаете? Может быть, и путного; может быть, кто-нибудь от больного послан за лекарем.

Дядя говорит:

– А как же мой картуз? Зачем он картуз сорвал?

– Бог знает, что такое ваш картуз и где вы его оставили.

Дядя обиделся, но матушка его оставила без внимания, и опять ко мне:

– Берегла сынка столько лет в страхе Божиим, а он вот к чему угодовался: тать не тать, а на ту же стать... Теперь за тебя после этого во всем Орле ни одна путная девушка и замуж не пойдет, потому что теперь все, все узнают, что ты сам подлет.

Я не вытерпел и громко сказал:

– Помилуйте, маменька! Какой же я подлет, когда это все по ошибке!

Но она не хочет и слушать, а все ткнет меня косточками перстов в голову да причитывает причтою по горю-злосчастию:

– Учила: живи, чадо, в незлобии, не ходи в игры и в братчины, не пей две чары за единый вздох, не ложись в место заточное, да не сняли б с тебя драгие порты, не доспеть бы тебе

стыда-срама великого и через тебя племени укору и поносу бездельного. Учила: не ходи, чадо, к костырям и к корчемникам, не думай, как бы украсти-ограбители, но не захотел ты матери покориться; снимай теперь с себя платье гостиное, и накинь на себя гуньку кабацкую, и дожди-дайся, как сейчас будошники застучат в порога и сам Цыганок в наш честный дом ввалится.

И все сама причитает, а сама меня костяшкой пристукивает в голову. А тетенька как услышала про Цыганка, так и вскрикнула:

– Господи! Избавь нас от мужа кровей и от Арида!

Боже мой! То есть это настоящий ад в доме сделался. Обнялись тетенька обе с маменькой, и, обнявшись, обе, плачущи, удалились. Остались только мы вдвоем с дядей.

Я сел, облокотился об стол и не помню, сколько часов просидел; все думал: кого же это я ограбил? Может быть, это француз Сенвенсан с урока ишел, или у предводителя Страхова в доме опекунский секретарь жил... Каждого жалко. А вдруг если это мои крестный Кулабухов с той стороны от палатского секретаря шел!.. Хотел – потихоньку, чтобы не видали с кулечком, а я его тут и обработал... Крестник!.. своего крестного!

– Пойду на чердак и повешусь. Больше мне ничего не остается.

А дядя только ожесточенно чай пил, а потом как-то – я даже и не видал как – подходит ко мне и говорит:

– Полно сидеть повеся нос, надо действовать.

– Да что же, – отвечаю, – разумеется, если бы можно узнать, с кого я часы снял...

– Ничего; вставай поскорее и пойдем вместе, сами во всем объявимся.

– Кому же будем объявляться?

– Разумеется, самому вашему Цыганку и объявимся.

– Срам какой сознаваться!

– А что же делать? Ты думаешь, мне охота к Цыганку?.. А все-таки лучше самим повиниться, чем он нас разыскивать станет: бери обои часы и пойдем.

Я согласился.

Взял и свои часы, которые мне дядя подарил, и те, которые ночью с собой принес, и, не здоровавшись с маменькою, пошли.

Глава четырнадцатая

Пришли в полицию, а Цыганок сидит уже в присутствии перед зеркалом, а у его дверей стоит молодой квартальный, князь Солнцев-Засекин. Роду был знаменитого, а талану неважного.

Дядя увидал, что я с этим князем поклонился, и говорит:

– Неужели он правду князь!

– Ей-богу, поистине.

– Поблести ему чем-нибудь между пальцев, чтобы он выскочил на минутку на лестницу.

Так и сделалось: я повертел полуполтинник – князь на лестницу и выскочил.

Дядя дал ему полуполтинник в руку и просит, чтобы нас как можно скорее в присутствие пустить.

Квартальный стал сказывать, что нонче, говорят, ночью у нас в городе произошло очень много происшествиев.

– И с нами тоже происшествие случилось.

– Ну да ведь какое? Вы вот оба в своем виде, а там на реке одного человека под лед спустили; два купца на Полешской площади все оглобли, слуги и лубки поваляли; один человек без памяти под корытом найден, да с двоих часы сняли. Я один и остаюсь при дежурстве, а все прочие бегают, подлетов ищут...

– Вот, вот, вот, ты и доложи, что мы пришли дело объяснить.

– Вы подравшись или по родственной неприятности?

– Нет, ты только доложи, что мы по секретному делу; нам об этом деле при людях объяснять совестно. Получи еще полмонетки.

Князь спрятал полтинник в карман и через пять минут кличет нас:

– Пожалуйте.

Глава пятнадцатая

Цыганок такой был хохол приземистый – совсем как черный таракан; усы торчком, а разговор самый грубый, хохлацкий.

Дядя по-своему, по-елецки, захотел было к нему близко, но он закричал:

– Говорите здалеча.

Мы остановились.

– Что у вас за дело?

Дядя говорит:

– Перво-наперво – вот.

И положил на стол барашка в бумажке. Цыганок прикрыл.

Тогда дядя стал рассказывать:

– Я елецкий купец и церковный староста, приехал сюда вчерашний день по духовной надобности; пристал у родственниц за Плаутиным колодцем...

– Так это вас, что ли, нонче ночью ограбили?

– Точно так; мы возвращались с племянником в одиннадцать часов, и за нами следовал неизвестный человек; а как мы стали переходить через лед между барок, он...

– Постойте... А кто же с вами был третий?

– Третьего с нами никого не было, кроме этого вора, который бросился...

– Но кого же там ночью утопили?

– Утопили?

– Да!

– Мы об этом ничего не известны.

Полицейстер позвонил и говорит квартальному:

– Взять их за клин!

Дядя взмолился.

– Помилуйте, ваше высокоблагородие! Да за что же нас!.. Мы сами пришли рассказать...

– Это вы человека утопили?

– Да мы даже ничего и не слышали, ни о каком утоплении. Кто утонул?

– Неизвестно. Бобровый картуз изгаженный у проруби найден, а кто его носил – неизвестно.

– Бобровый картуз?!

– Да; покажите-ка ему картуз, что он скажет? Квартальный достал из шкафа дядин картуз.

Дядя говорит:

– Это мой картуз. Его вчера с меня на льду вор сорвал.

Цыганок глазами захолопал.

– Как вор? Что ты врешь! Вор не шапку снял, а вор часы украл.

– Часы? с кого, ваше высокоблагородие?

– С никитского дьякона.

– С никитского дьякона!

– Да; и его очень избили, этого никитского дьякона.

Мы, знаете, так и обомлели.

Так вот это кого мы обработали!

Цыганок говорит:

– Вы должны знать этих мошенников.

– Да, – отвечает дядя, – это мы сами и есть.

И рассказал все, как дело было.

- Где же теперь эти часы?
 - Извольте – вот одни часы, а вот другие.
 - И только?
- Дядя пустил еще барашка и говорит:
- Вот это еще к сему.
- Прикрыл и говорит:
- Привести сюда дьякона!

Глава шестнадцатая

Входит сухощавый дьякон, весь избит и голова перевязана. Цыганок на меня смотрит и говорит:

– Видишь?!

Кланяюсь и говорю:

– Ваше высокоблагородие, я все претерпеть достоин, только от дальнего места помилуйте. Я один сын у матери.

– Да нет, ты христианин или нет? Есть в тебе чувство?

Я вижу этакий разговор несоответственный и говорю:

– Дяденька, дайте за меня барашка, вам дома отдадут.

Дядя подал.

– Как это у вас происходило?

Дьякон стал рассказывать, что «были, говорит, мы целой компанией в Борисоглебской гостинице, и очень все было хорошо и благородно, но потом гостинник посторонних слушателей под кровать положил за магарыч, а один елецкий купец обиделся, и вышла колотовка. Я тихо оделся и сам вышел, но как обогнул присутственные места, вижу, впереди меня два человека подкарауливают. Я останавлиюсь, чтобы они ушли дальше, и они остановятся; я пойду – и они идут. А вдруг между тем издали слышу, еще меня кто-то сзади настигает... Я совсем испугался, бросился, а те два обернулись ко мне в узком проходе между барок и дорогу мне загородили... А задний с горы совсем нагоняет. Я поблагословился в уме: Господи, благослови! Да пригнулся, чтобы сквозь этих двух проскочить, и проскочил, но они меня нагнали, с ног свалили, избили и часы сорвали... Вот и цепочки обрывок».

– Покажите цепочку.

Сложил обрывочек цепочки с тем, что при часах остался, и говорит:

– Это так и есть. Смотрите, ваши эти часы?

Дьякон отвечает:

– Это самые мои, и я их желаю в обрат получить.

– Этого нельзя, они должны остаться до рассмотрения.

– А как же, – говорит, – за что я избит?

– А вот это вы у них спросите.

Тут дядя вступился.

– Ваше высококордие! Что же нас спрашивать понапрасну. Это в действительности наша вина, это мы отца дьякона били, мы и исправимся. Ведь мы его к себе в Елец берем.

А дьякон так обиделся, что совсем и не в ту сторону.

– Нет, – говорит, – позвольте еще, чтобы я в Елец согласился. Бог с вами совсем: только упростили, и сейчас же на первый случай такое надо мной обхождение.

Дядя говорит:

– Отец дьякон, да ведь это в ошибке все дело.

– Хороша ошибка, когда мне шею нельзя повернуть.

– Мы тебя вылечим.

– Нет, я, – говорит, – вашего лечения не хочу, меня всегда у Финогеича банщик лечит, а вы мне заплатите тысячу рублей на отстройку дома.

– Ну и заплатим.

– Я ведь это не в шутку; меня бить нельзя... на мне сан.

– И сан удовлетворим.

И Цыганок тоже дяде помогать стал:

– Елецкие, – говорит, – купцы удовлетворят... Кто там еще за клином есть?

Глава семнадцатая

Вводят борисоглебского гостинника и Павла Мироныча. На Павле Мироныче сюртук изодран, и на гостиннике тоже.

– За что дрались? – спрашивает Цыганок.

А они оба кладут ему по барашку на стол и отвечают:

– Ничего, – говорят, – ваше высокоблагородие, не было, мы опять в полной приязни.

– Ну, прекрасно, если за побои не сердитесь – это ваше дело; а как же вы смели сделать беспорядок в городе? Зачем вы на Полешской площади все корыты, и лубья, и оглобли повалили?

Гостинник говорит, что по нечаянности.

– Я, – говорит, – его хотел вести ночью в полицию, а он – меня; друг дружку тянули за руки, а мясник Агафон мне поддерживал; в снегу сбились, на площадь попали – никак не пролезть... все валяться пошло... Со страху кричать начали... Обход взял... часы пропали...

– У кого?

– У меня.

Павел Мироныч говорит:

– И у меня тоже.

– Какие же доказательства?

– Для чего же доказательства? Мы их не ищем.

– А мясника Агафона кто под корыто подсунул?

– Этого знать не можем, – отвечает гостинник, – не иначе как корыто на него повалилось и его прихлопнуло, а он заснул под ним хмельной. Отпустите нас, ваше высокоблагородие, мы ничего не ищем.

– Хорошо, – говорит Цыганок, – только надо других кончить. Введите сюда другого дьякона. Пришел черный дьякон. Цыганок ему говорит:

– Вы это зачем же ночью Судку разбили?

Дьякон отвечает:

– Я, – говорит, – ваше высокоблагородие, был очень испугавшись.

– Чего вы могли испугаться?

– На льду какие-то люди стали громко «караул» кричать; я назад бросился и прошусь к будошнику, чтобы он меня от подлетов спрятал, а он гонит: «Я, – говорит, – не встану, а подметки под сапоги отдал подкинуть». Тогда я с перепугу на дверь понапер, дверь сломалась. Я виноват – силом вскочил в будку и заснул, а утром встал, смотрю: ни часов, ни денег нет.

Цыганок говорит:

– Что же, елецкие? Видите, и этот дьякон через вас пострадал, и у него часы пропали.

Павел Мироныч и дядя отвечают:

– Ну, ваше высокоблагородие, нам надо домой сходить занять у знакомцев, здесь при нас больше нету.

Так и вышли все, а часы там остались, и скоро в этом во всем утешились, и много еще было смеху и потехи, и напился я тогда с ними в первый раз в жизни пьян в Борисоглебской и ехал по улице на извозчике, платком махал. Потом они денег в Орле заняли и уехали, а дьякона с собой не увезли, потому что он их очень забоялся. Как ни просили – не поехал.

– Я, – говорит, – очень рад, что мне господь даровал с вас за мою обиду тыщу рублей получить. Я теперь домик обстрою и здесь хорошее место у секретаря выхлопочу, а вы, елецкие, как я вижу, очень дерзки.

Для меня же настало испытание ужасное. Маменька от гнева на меня так занемогла, что стали близко гробу. Унылость во всем доме стала повсеместная. Лекаря Депиша не хотели:

боялись, что он будет обо всем состоянии здоровья расспрашивать. Обратились к религии: в девичьем монастыре тогда жила мать Евникия, у которой была иорданская простыня, как Евникия в Иордане-реке омочилась, так ею потом отерлась. Этой простыней маменьку скрывали. Не помогло. Каждый день в семи церквях с семи крестов воду спускали. Не помогло. Мужик-леженка был, Есафейка, все лежнем лежал, ничего не работал, – ему картуз яблочной резани послали, чтобы молился. То же самое и от этого помощи не было. Только наконец, когда они вместе с сестрой в Финогеевичевы бани пошли и там их рожечница крови сколола, только тогда она чем-нибудь распорядиться стала. Иорданскую простыню Евникее велела отдать назад, а себе стала искать взять в дом сиротку воспитывать.

Это свахино было научение. Своих детей у нее много было, но она еще до сирот была очень милая – все их приючала и маменьке стала говорить:

– Возьми в дом чужое дитя из бедности. Сейчас все у тебя в своем доме переменится: воздух другой делается. Господа для воздуха расставляют цветы, конечно, худа нет; но главное для воздуха – это чтоб были дети. От них который дух идет, и тот ангелов радует, а сатана – скрежещет... Особенно в Пушкарной теперь одна девка: так она с дитем бьется, что даже под орлицкую мельницу уже топить носила.

Маменька проговорила:

– Скажи, чтоб не топила, а мне подкинула.

В тот же день у нас девочка Маврутка и запищала и пошла кулачок сосать. Маменька ею занялась, и перемена в них началась. Стали мне оказывать язвительность.

– Тебе, – говорят, – к Велику Дню ведь обнови не надо; ты теперь пьющий, тебе довольно гуньку кабацкую.

Я уже все терпел дома, но и на улицу мне тоже нельзя было глаза показать, потому что рядовичи, как увидят, дразнятся:

– С дьякона часы снял.

Ни дома не жить, ни со двора пройтись.

Одна только сирота Маврутка мне улыбалась.

Но сваха Матрена Терентьевна меня спасла и выручила. Простая была баба, а такая душевная.

– Хочешь, – говорит, – молодец, чтоб тебе голову на плечи поставить? Я так поставлю, что если кто над тобой и смеяться будет – ты и не почувствуешь.

Я говорю:

– Сделайте милость, мне жить противно.

– Ну, так ты, – говорит, – меня одну и слушай. Поедем мы с тобою во Мценск – Николе Угоднику усердно помолимся и ослопную свечу поставим; и женю я тебя на крале на писаной, с которой ты будешь век вековать, Бога благодарить да меня вспоминать и сирот бедных жаловать, потому я к сиротам милосердная.

Я отвечаю, что я сирот и сам сожалею, а замуж за меня теперь которая же хорошая девушка пойдет.

– Отчего же? Это ничего не значит. Она умная. Ты ведь не со двора вынес, а к себе принес. Это надо различать. Я ей прикажу понять, так она все въявь поймет и очень за тебя выйдет. А мы съездим как хорошо к Николе во все свое удовольствие: лошадка в тележке идти будет с клажею, с самоваром, с провизией, а мы втроем пешком пойдем по протуварчику, для Угодника потрудимся: ты, да я, да она, да я себе для компании сиротку возьму. И она, моя лебедка, Аленушка, тоже сирот сожалеет. Ее со мной во Мценск отпускают. И вы тут с ней пойдете-пойдете, да сядете, а посидите-посидите, да опять по дорожке пойдете и разговоритесь, а разговоритесь, да слюбитесь, и как вкусишь любви, так увидишь ты, что в ней вся наша и жизнь, и радость, и желание прожить в семейной тишине. А на все людские речи тебе тогда будет плевать, да и лица не взвораживать. Так все доброй пойдет, и бывшая шалость забудется.

Я и отпросился у маменьки к Николе, чтобы душу свою исцелить, а остальное все стало, как сваха Терентьевна сказывала. Подружился я с девицей Аленушкой, и позабыл я про все про истории; и как я на ней женился и пошел у нас в доме детский дух, так и маменька успокоилась, а я и о сю пору живу и все говорю: благословен еси, Господи!

1887